

ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ?

Когда я прочел в одной из летних¹ книжек «Русской Мысли» следующие утешительные слова: «бодрость вопреки всем кошмарным впечатлениям и упорная жажда строительства, — это тот клад, который выужен здоровыми людьми из мутных вод современности; и его не отнимут никакие каркающие пророки; они иронически спрашивают: *чему радоваться?* — да, вот этой самой светлой силе и новой трезвости, озарению изнутри» (Р<усская> М<ысль>, июнь, «Быть или не быть?» Е. Колтановская), — я решил, что нужно в самом деле начать радоваться, — и с надеждой стал читать новый роман Зайцева (в 20 и 21 книжках «Шиповника») — поэта склонного, как известно к идеализации.

Зайцев — не Ропшин (по поводу которого и сказаны критиком приведенные слова); он именно поэт, и притом уже не начинающий, может быть, даже с выработанным вкусом, а не публицист, для которого важнее всего и неотступнее — вопросы. Он изображает, а не рассуждает. Его и надо судить, как художника, т. е. исходя из его образов. Но в свою очередь — дарование его, конечно, не дарование Андреева или Сологуба, да и не Ремизова — по своим силам. *Силы* в нем как раз и нет, а есть — нежность, мягкость, чуткость и другие, подобные им, собственно женственные черты. Таким он был еще в первых своих рассказах, печатавшихся впервые в «Новом Пути», таким остался и теперь, написав за эти годы, в которые его сверстники издали уже собрания своих повестей и рассказов во многих томах, — только три, совсем тоненькие. (В этом сказывается, может быть, та же общая слабость). Но в чем она обнаруживается явно, это — в самих приемах изображения: в акварелизме красок — там, где требовались бы густые и энергические мазки — и притом все каким-то бледно-водяными пятнами, не то серо-голубыми, не то серо-зелеными, не то розоватыми или желтоватыми. Такой акварелизм не отвечает требованию больных бытовых полотен,² и потому, пока поэт писал короткие «очерки», — все казалось, что вот-вот он выработает *свою* — изящную, хотя и наверное, излишне смягченную манеру, годную лишь для «очерков». Но рассказ за рассказом, а совершенства в своем роде, поэтического сосредоточения и своеобразия Зайцев не достигал: его краски все расплывались в какую-то приятную (а иногда и — слащавую) муть. Теперь в романе — все эти недостатки сказались в полной мере. Первая часть написана ярче, но зато ее стиль, не имея силы достигнуть яркости самих образов — просто небрежен; вторая часть — бледнее образами, — и стиль ровнее, выдержаннее, т. е. также бледен, как и образы. Вот несколько беглых выписок для характеристики стиля:

«Степан поклонился, крепко пожал ей руку. Полина приветливо взглянула на него: «очень приятно». Потом она обратилась к Пете.

¹ Вычеркнуто: последних.

² Далее вычеркнуто: и которые по-видимому привлекали глаз? Поэта все бо все настойчивее привлекали

– Ну как я рада, как рада, что ты зашел, наконец, Петруха! Я уже думала, ты забыл нас...» Совершенная безвыразительность такого языка ничуть не оживляется скромной иронией, непосредственно за этим следующей: «Полина, черноволосая учительница, старинная приятельница Пети, мечтала втайне о сцене, и ей нравилось, что слова: ну, как я рада! КА рада! – выходили немного похожими на театр...» Это язык не поэта, а – институтских сочинений в классных журналах. В таком же роде идет и дальше: «Она вскочила, как бы испуганная... захохотала, встряхнула своими прекрасными, черными волосами...» А с другой стороны – в погоне за яркостью красок, – прямые стилистические оплошности, ~~доходящие~~ до каламбуров: «Суп *отливал* золотистым, но *плохо шел* в Петино горло. Как часто с ним бывало, он вдруг почувствовал *прилив* крайней раздражительности...» «Казалось его *извилистому мозгу* доставлял *удовольствие* самый спор...» «Здесь его *голова нагревалась*, он видел борьбу, баррикады...» «...Назначили день и бедная *Полина побелела*, узнав об этом...» «Станный большой *восторг*... *пулям противопоставляет* цельный душевный организм...» «...Клавдия... *выглядела довольно прочно*...» «...Меня *что-то гложет*. – Что же именно? Спросил Петя робко. *В каком направлении?*...» Есть и такие промахи стилистической памяти: «Алеша несколько *ошалел*...» и через несколько строк: «ощущение Алеши было, вероятно, *космическая тоска*...» и т. п.

Роман назван «Дальний край»; первая часть имеет эпиграф из Матфея: «идите и вы в виноградник Мой, – бессознательно кощунственный. Дальний край – это вечность и в то же время смысл жизни, виноградник – жизнь чувственности или вообще эмоциональная. Если в отношении к «винограднику» Зайцев, в увлечении – сгущает, насколько он это только умеет, все свои краски, настолько «дальний край» скользит холодным и печальным нежным символом по всему роману – так что не знаешь, бессилие ли здесь таланта, или бессилие мысли.³

Три героя романа – все студенты: Алеша, Петя, Степан и героиня Лизавета, Алешина сестра, вышедшая потом замуж на Петю и тайная любовь Степана, стоят на разных ступенях – в отношении «виноградника» и «дальнего края». Алеша – это воплощение инстинкта жизни; он любит жизнь и живет, исполняя свои желания, не зная над собой никакой воли, не стесняемый никакой моралью, сам не понимая, для чего живет, для чего поступает так, а не иначе. Он бодрый и милый мальчик, любит природу, охоту, женщин, в которых он не столько влюбляется, сколько сразу вступает в связь. Он может жить по своим инстинктам без страха и упрека, потому что желанья его совершенно невинные, ни для кого не вредные; всякой морали он чужд, но сам вовсе не аморален. Сначала – он деятельный член чего-то вроде шуточной лиги свободной любви – «общества козлорогов или священного Козла», веселой московской богемы, все члены которой, начиная с главной зачинщицы все веселий – Лизаветы, отличаются больше

³ Далее вычеркнуто: Кажется, и здесь скорее первое.

несдержанностью мускульных движений, чем какими-нибудь вольными чувствами, а тем более – преступными – (во всех отношениях). Все они очень шумно проводят время, без конца хохочут, кричат, накидываются друг на друга с поцелуями (по большей части – самыми братскими) – или с бранью (в которой больше разнузданности, чем самой брани), прыгают, танцуют («козлуют») пьют вино (то же довольно умеренно), но влюбляются и в друг друга – и «со стороны», чаще чем на каждом шагу. Лизавета, грубоватая, но красивая девушка, с рыжими волосами, больше всех набрасывается на каждого с поцелуями или с бранью («такое брехло!..» «дала б ему в морду!..»), становится на колени посреди улицы перед своей подругой, вместо того, чтобы просто поздороваться; в особенно возбужденном состоянии⁴, – валяясь на диване, почесывает у себя ногой за ухом (в первый раз слышу, что это так просто – и даже возможно!), в пониженном настроении – ложится на пол и «подвывает»; но, влюбившись в Петю, выходит за него замуж самым обыкновенным образом, даже волнуется при венчании и обращает внимание на то, хорошо ли сидит на женихе сюртук с чужого плеча; потом – становится хорошей женой и матерью, хотя и плохой хозяйкой.

Это что-то вроде Наташи Ростовой, только в другой среде, гораздо разнузданнее, но и гораздо доброжелательнее: Наташа могла увлечься Курагиным, полюбить Болконского, выйти замуж за Безухого. Ее жег внутренний огонь, который разрешился в пламя материнства. Лизавета братски целуется с каждым встречным, доброжелательно «козлует», почесывая ногой за ухом и подвывая на полу, но страсти ее начинаются и кончаются⁵ Петром Ильичем Лапиным, как представляет Алеша жениха Петю. У Наташи вообще были возможности, она вся была возможность многого; Лизавета возможность очень немногого и обыденного, сколько бы не поэтизировал ее, сам влебленный в нее, поэт. Ее очарование, которое она производит на всех, меньше всех ее возможностей.

Но это очарование (и здесь поэт мудрее самого себя) – целая наша общественная поэма, не только последних лет! Русские интеллигенты, еще на заре нашей истории, изображались не находящими себя или даже себя потерявшими – и всегда жалкими в сравнении с женщинами. Критика достаточно и верно над этим посмеялась: известна Ася – и «русский человек на rendez-vous». Наташа Ростова самым Толстым, несмотря на весь страх его перед идеализацией, поднята надо всеми другими героями. В романе Зайцева – и Петя, и Степан, и сам автор увлечены Лизаветой. Но Лизавета – не Наташа и не Ася, хотя и варьирует их. Автор не виновен, что русские девушки понизили этот тип, сохраняя его родовые черты. И потому, не считаясь с комическими преувеличениями, – в Лизавете надо признать художественную правду – и плакать над вырождением старинного типа, стихийно-женского (Наташа) или даже стихийно-девственного (Ася). Но

⁴ Было: настроении

⁵ Далее вычеркнуто: неким

прав ли поэт, не увидав ничего лучшего, чем этот тип – в его вырождении? Что влюбился в него сызнова? В этой вине заключается основной грех поэта: он влюблен во всех своих «козлорогов» – недаром он допустил такое непозволительное истолкование слов, взятых в эпитафии, а мимо того, кого он поставил вне священной «лиги», прошел почти с равнодушием!

«Козлорог» Алеша, сначала только прыгавший в «лиге» и ничего не переживавший посерьезнее, едет в деревню за документами для венчания сестры и там вступает в связь с молодой помещицей Анной Львовной, как будто созданной для Алеши – очень бойкой, ничем не связанной и ожидающей романа. «Роман» начинается с первой встречи и переносится очень скоро в Крым, где Алеша гуляет с Анной Львовной по уединенным местам южного берега – совершенно раздетый (но в шляпе), готовый, если бы его пустили, гулять в таком виде, в местах и населенных, сначала – смущая сестру Анны Львовны – «женщину-врач и семидесятницу», – а потом «приучив» и ее к этому зрелищу; впрочем влюбленные все-таки стесняются себя, купаясь вместе в море только по ночам. Так проводит Алеша время, отдаваясь своим невинно-первобытным инстинктам, недолго: Анна Львовна, утонула однажды, купаясь в море, и Алеша не мог спасти ее, бросившись за нею в плавь. После этого он некоторое время скитается по России; московское восстание превращает его в дружинника, но – кончилась революция, и он уже в Италии, где к тому времени собираются все герои романа, вспоминает и революцию, и Россию с легкостью: «Бог с ней с Россией, с революцией!..» Теперь он любовник декадентки Ольги Александровны («сестры луны»), которая была раньше влюблена в Петю, но Петя, сам в нее влюбленный, никак не мог, по собственному ее признанию, сделать тот простой и решительный шаг, который Алеша сделал, не мудря, – и тем спас молодую вдову от ее декадентских томлений. Однако этот роман – последний в жизни Алеши. Он – «обреченный», – он сам предчувствует свою раннюю смерть, и погибает нелепо, схватившись на охоте за ружье, оказавшееся заряженным.

Сочувствует ли автор Алеше? – Если сочувствует Лизавете, то сочувствует и Алеше. Или он мерит двумя мерами – мужской и женской? Что хорошо в девушке, то нехорошо – в юноше? Алеша беспечно-равнодушен ко всему на свете, кроме своей собственной беспечности. Он поступил в горный институт – и не знает, зачем поступил; он принимает участие в революции, в студенческих забастовках – не потому, что его волнует судьба русской жизни, идея справедливости, томит совесть... Лизавета тоже во всем принимает участие, но разве ее трогает что-нибудь глубоко? «Чего тут говорить? Конечно, земля должна быть у крестьян... Ну, сказали ж тебе, что у крестьян, - чего ж разговаривать!» грубо обрывает она Петю, ни в чем ничего не понимая, да и не интересуясь ничем, кроме своих отношений с мужем и во все вмешиваясь – не из тревоги за чужие жизни, иль любви к людям и к родине, а импульсивно и случайно, на минуту, потому что под руку подвернулось, а сердце у нее доброе... Почему же автор, восхищенный

Лизаветой, мог бы и не сочувствовать Алеше? Или он должен был погибнуть, потому что ему выпала глупая судьба – родиться мужчиной?

Прямая противоположность Алеше – Степан. Петя стоит между ними посередине: он вообще золотая середина. Степан отнюдь нет. Он революционер и примкнул к одной из «очень крайних партий», к какой именно? Автор почему-то не счел нужным назвать. Он напоминает ропшинских героев: мечтает о великом подвиге и жертве, бросает бомбу в губернского сановника, томится проблемой террора (так!) – и кончает религиозным исповеданием в духе Толстого, которое и приводит его к смерти. Имя Толстого здесь прямо названо, и, несмотря на особенную бедность красок в отношении этого образа, – он внутренне наиболее сильный и наиболее привлекательный из всех. Его страсть к невесте, затем равнодушие к жене – и наконец весь его неудачный брак – малохарактерны и неопределенны по замыслу; образ Клавдии, его невесты и потом жены – также неясен; тайная страсть⁶ к Лизавете уже гораздо глубже чем его отношения к Клавдии говорит о «бесе чувственности», с которым он, в противоположность «козлорогам» все время борется – хотя и беспомощно – но и эта стихия его выясняется вполне во всей своей силе уже после того, как свершилось его религиозное перерождение. Оно мотивировано, к сожалению, слишком слабо, за то само по себе, как событие, является важнейшей чертой из всех наблюдений автора.

В связи с тяготением к героине толстовского типа – эта подробность решительно останавливает на себе внимание – и невольно задаешь себе вопрос: уже не возвращением ли к Толстому совершается в нашем общественном сознании? Это было бы необыкновенно знаменательно!.. Однако Степан, волей автора, гибнет, и мы не знаем, верить ли «знамению»? Но в изобразительном смысле – сцена его гибели – одно из самых волнующих мест в романе.

Он отбывает на Амуре каторгу за покушение. Однажды дежурный унтер ударил больного каторжанина. Степан вступился за него, упрекнув унтера в жестокости. Унтер в ответ ударил Степана. О столкновении стали уже забывать, как вдруг через три дня унтера нашли утром убитым. Никто не сознавался в убийстве, потому что никто не был виновен; не был виновен и Степан, но он решил взять вину на себя, когда было объявлено, что шесть человек по жребию будет расстреляно. Он решил, верный своей новой вере, принести себя в искупительную жертву – и был расстрелян. «Прощайте, братцы!» – были его последние слова, со спокойной уверенностью обращенные к товарищам – за мгновение до того, как «ему открывалась вечность»

Я говорю, что эта сильная и выразительная сцена могла бы быть значительнее всего остального, если бы автор не счел судьбу Степана, со всей его жаждой подвига и обращением к «толстовству», только эпизодом, отдавая всю свою любовь Пете, а в перерождении Степана приветствуя – не

⁶ Было: влюбленность в...

религиозную мечту, не святость любви, даже не «бога любви», - а всего лишь – непротивленство, религиозное примирение с существованием зла, требующего жестоких личных жертв... Любит ли он Степана? По крайней мере, меньше всех других. Это не Петя – избранник Лизаветы и друг сердца самого поэта!.. Чем же обусловлен этот выбор сердца?

«Петр Ильич Лапин», сначала напоминающий своим добродушием и обыкновенностью Николая Ростова (тень Толстого не покидает Зайцева и здесь) постепенно «развивается», правильно восходя по знакомым ступеням общественного развития – за последнее десятилетие. Сперва он мало читает и думает; томительно влюблен в Ольгу Александровну, которая ждет от него хоть поцелуя, и для этого увозит его с собой в деревню; он не может решиться, – так что она, наконец, говорит, что ему лучше уехать; он уезжает и попадает к «козлорогам». Здесь он становится революционером, влюбляется в Лизавету и начинает было размышлять, кого же он любит – ту или эту? – но Лизавета не дает ему опомниться и женит на себе. Он начинает читать, и от Маркса переходит к «Проблемам идеализма» и Канту – наряду с Бальмонтом, Шишневским и театром Станиславского; углубляется в Владимира Соловьева – и кончает умереннейшим культурничеством. В заключительной главе мы читаем, что Петя, подводя итоги своей юности, остался доволен собой. Вопрос: «кто же он наконец – демократ ли, друг народа или помещик?» его больше не смущает. «Сердце его говорило, что он, Петр Ильич Лапин, еще недавно студентик Петя, будет стоять в ряду людей культуры и света... Когда он глядел на поля своей родины, на убогую скорбную народную жизнь, в нем просыпался *старый патриотизм*, он с улыбкой вспомнил *мечты своей ранней юности и борьбы со злом*. Но теперешняя улыбка его не была насмешливой... *Он не воображал уже, как своими блестящими речами раздавить подлое зло – смертные казни*. Но знал и с гордостью чувствовал, что в здание русской культуры и он положил свой пусть скромный – камень. Много думал он теперь и о революции...» и, конечно, не настолько поправел, чтобы совершенно отрицать ее значение. «*Как не тяжело, сколь не заливают землю кровью и не уснащают виселицами, сколько горького, а иногда и гнусного не обнаружили сами левые* – все же революция сделала свое дело...»

Правда «студентик Петя» всегда был вял характером и недалек умственно, – и почему его полюбила стремительная Лизавета остается непонятным, если только страсти поддаются разумению, - но за что любит его автор? Неужели же нашим умственным томлениям суждено было кончиться всего лишь «Петром Ильичем Лапиным»? – такой бездушной общественной деловитостью, – до такого ущерба идеализма? Не это ли и есть тот «клад, который выужен здоровыми людьми из лучших вод современности»? Вероятно, так! Иначе, единственное в романе лицо с глубиной личного сознания и с любовью к людям – Степан не остался бы эпизодом. Алеша только переезжает с места на место, в погоне за «дальним краем»; Степану «открывается вечность», когда он гибнет жестокой жертвой, – Петя прямо идет в «дальний край», гуляя под руку с беременной Лизаветой,

по деревенским полям, оторвавшись от последней статьи Гершензона, в недалеком ожидании «детки»!..

Степан или Петя? Зайцев выбрал Петю. Или он думает так: раз Степан обречен погибнуть – игрою вышних сил, как Алеша обречен был погибнуть фатально, остается Петя, ничего не поделаешь! помириться на нем? Но Лизавета ведь полюбила Петю, а не Степана, который так и остался со своей тонкой страстью⁷; а любовь Лизаветы, несомненно – любовь самого автора... Да! Петр Ильич Лапин, всему определивший свое «культурное» место: и «земле, залитой кровью», и «всем лицам, уснащающим ее», и «гнусностям левых» – идеал поэта. Так вот, что значило: сперва успокоение, потом реформы! Успокоение наступило, – будем ждать Петиних реформ!

Для людей же другого толка, менее склонных к успокоению, остается еще одна надежда, правда, самая неопределенна – на «детку», которую нетерпеливо ждут бывшие «козлороги». Особенно, если детка будет больше похожа на маму, чем на папу...

Владимир Гиппиус.

⁷ Было: любовью к ней